

# Предмет логики как науки в новой философии

«Вопросы философии», 5 (1965), с. 71-82

Исторический анализ этой проблемы оказывается в наши дни весьма актуальным. Дело в том, что логикой ныне именуются учения, которые значительно расходятся в понимании границ предмета этой науки. Разумеется, каждое из них претендует не только и не столько на название, сколько на право считаться единственно современной ступенью в развитии мировой логической мысли. В связи с этим и приходится вновь поднимать историю вопроса.

Термин «логика» применительно к науке о мышлении впервые был введен стоиками, выделившими под этим названием лишь ту часть действительного учения Аристотеля, которая согласовывалась с их собственными представлениями о природе мышления. Самое название «логика» производилось ими от греческого термина «логос» (который буквально означает «слово»), а указанная наука сближалась по предмету с грамматикой и риторикой. Средневековая схоластика, окончательно оформившая и узаконившая эту традицию в понимании логики, как раз и превратила эту науку в простой инструмент («органон») ведения словесных диспутов, в орудие истолкования текстов священного писания, в чисто формальный аппарат. В результате оказалось дискредитированным не только официальное толкование логики, но даже и самое название. Схоластически кастрированная «аристотелевская логика» поэтому и утратила кредит в глазах всех выдающихся естествоиспытателей и философов Нового времени. По той же причине большинство философов XVII-XVIII веков вообще избегает употреблять термин «логика» в качестве названия науки о мышлении, об интеллекте, о разуме. Это название не фигурирует вообще в заглавиях выдающихся сочинений о мышлении. Достаточно напомнить «Рассуждение о методе», «Трактат об усовершенствовании интеллекта», «Разыскание истины», «Опыт о человеческом разуме», «Новые опыты о человеческом разуме» и т.д. и т.п. – вплоть до таких эпигонских сочинений, как «Искусство мышления» (так называемая логика Пор-Рояля).

Это произошло потому, что официальная, схоластически-формальная версия логики продемонстрировала свою полную непригодность в качестве «органа» действительного мышления, развития научного знания. «Логика, которой теперь пользуются, скорее служит укреплению и сохранению ошибок, имеющих свое основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины. Поэтому она более вредна, чем полезна», – констатирует Фрэнсис Бэкон<sup>1</sup>. «В логике ее силлогизмы и большая часть других ее наставлений скорее помогают объяснять другим то, что нам известно, или даже, как в искусстве Луллия, бестолково рассуждать о том, чего не знаешь, вместо того чтобы изучать это», – вторит ему Ренэ Декарт<sup>2</sup>. [71] Это лейтмотив всей передовой философской мысли. Джон Локк полагает, что «силлогизм в лучшем случае есть лишь искусство биться тем небольшим знанием, какое есть у нас, не делая к нему никаких прибавлений»<sup>3</sup>. На этом основании Декарт и Локк считали необходимым отнести всю проблематику прежней логики в область риторики. Поскольку же логика сохраняется как особая наука, то она единодушно толкуется не как

наука о мышлении, а как наука о правильном употреблении слов, имен, знаков. Гоббс развивает концепцию логики как исчисления слов-знаков<sup>4</sup>.

Подытоживая свой «Опыт о человеческом разуме», Локк так же определяет предмет и задачу логики: «Задача логики рассмотреть природу знаков, которыми душа пользуется для уразумения вещей и передачи своего знания другим»<sup>5</sup>. Он толкует логику как «учение о знаках», как семиотику<sup>6</sup>.

Но философия, по счастью, не застряла на этом представлении. Лучшие умы этой эпохи прекрасно понимали, что если логику трактовать так, то она является чем угодно, но только не наукой о мышлении. Единственно кого устраивало такое понимание логики в то время – это представителей чисто механистического взгляда и на мир и на мышление. Поскольку объективная реальность толковалась ими абстрактно-геометрически (то есть единственно объективными и научными считались лишь чисто количественные характеристики), то принципы мышления в математическом естествознании сливались в их глазах с логическими принципами мышления вообще. Эта тенденция в законченной форме выступает у Гоббса.

Гораздо осторожнее подходят к делу Декарт и Лейбниц. Им тоже импонировала идея создания «всеобщей математики» на месте прежней, высмеянной и дискредитированной логики. Эта идея и у них сочеталась с мечтой об учреждении «универсального языка», системы терминов, определенных строго и однозначно, а потому допускающей над собою чисто формальные операции.

Однако и Декарт и Лейбниц в отличие от Гоббса прекрасно видели принципиальные трудности, стоявшие на пути осуществления этой идеи. Декарт понимал, что определения терминов в «универсальном языке» не могут быть продуктом полюбовного соглашения, а должны быть получены только в результате тщательного анализа простых идей, из которых, как из кирпичиков, складывается весь интеллектуальный мир людей; что сам этот точный язык «всеобщей математики» может быть лишь чем-то производным «от истинной философии»<sup>7</sup>. Только при этом условии удалось бы заменить мышление о вещах, данных в воображении (то есть, по тогдашней терминологии, в созерцании), вообще в реальном чувственно-предметном опыте людей, своего рода «исчислением терминов и утверждений» и сделать умозаключения столь же безошибочными, как и решения уравнений.

Присоединяясь в этом пункте к Декарту, Лейбниц категорически ограничивал область применения «всеобщей математики» вещами, которые относятся к сфере действия *«силы воображения»*. «Всеобщая математика» и должна представить, по его мысли, лишь, «так сказать, логику силы воображения». Но именно по этой причине из ее ведения исключаются как вся метафизика, так и «лишь рассудку соразмерные вещи, как мысль и действие, так и область обычной математики». Весьма существенное ограничение! Мышление, во всяком случае, здесь остается за пределами компетенции «всеобщей математики»<sup>8</sup>. [72]

Поэтому Лейбниц с нескрываемой иронией относился к чисто номиналистической трактовке логики, изложенной у Локка, согласно которой логика понимается как особая наука о знаках. Лейбниц вскрывает трудности, связанные с таким пониманием логики. Прежде всего, констатирует Лейбниц, «наука о рассуждении, составлении суждения, изобретении по-видимому очень отлична от знания этимологии слов и словоупотребления, представляющего нечто неопределенное и произвольное. Кроме того, объясняя слова, приходится делать экскурсии в область самих наук, как это видно по словарям; с другой же стороны, нельзя заниматься науками, не давая в то же время определения терминов»<sup>9</sup>.

Поэтому вместо того разделения философии на три разных науки, которое Локк копирует у стоиков (логика, физика и этика), Лейбниц предпочитает говорить о трех разных аспектах, под которыми выступает одно и то же знание, одни и те же истины, – теоретическом (физика), практическом (этика) и терминологическом (логика). Прежней логике здесь соответствует просто терминологический аспект знания, или, по выражению Лейбница, систематизация знания по терминам в справочнике <sup>10</sup>.

Разумеется, такая систематизация, даже самая лучшая, не есть наука о мышлении, ибо Лейбниц имел о мышлении более глубокое представление. Поэтому и подлинное учение о мышлении он относил к метафизике, следуя в этом смысле терминологии и сути логики Аристотеля, а не стоиков.

Огромную, далеко не до конца оцененную роль в развитии логики, в подготовке современного взгляда на предмет этой науки сыграл Спиноза. Как и Лейбниц, Спиноза высоко поднимался над механистической ограниченностью естествознания своей эпохи. Ему также совершенно чуждо было стремление непосредственно универсализировать частные, лишь в пределах механистически-математического естествознания пригодные формы и методы мышления. Логику, поскольку она сохраняется рядом с учением о субстанции, он толковал как прикладную дисциплину, по аналогии с медициной, так как ее заботой оказывается не изобретение искусственных правил, а согласование человеческого интеллекта с *законами мышления*, понимаемого как *«атрибут» природного целого*, лишь как *«способ выражения» всеобщего «порядка и связи вещей»*. Попытку разрабатывать логические проблемы на основе этого понимания Спиноза и осуществил в «Трактате об усовершенствовании разума», где им излагается глубокое, намного опередившее эпоху учение о научном понятии, которое Спиноза принципиально отличает от словесно зафиксированной абстракции, о научном определении и доказательстве, об истине и заблуждениях интеллекта и т.д.

Однако несмотря на многочисленные попытки разрабатывать по существу новое учение о мышлении, новую логику, отличную от схоластической, традиционная логика оставалась все это время нетронутой. Чаще всего ее просто отбрасывали как обветшавший хлам, стараясь не связывать исследования в области мышления с ее дискредитированным багажом и наименованием. Учебники же логики продолжали оставаться на уровне средневековья и даже ниже этого уровня, так что Гегель с полным правом констатировал уже в начале XIX века всеобщее и полное презрение к этой науке, которая «в продолжение веков и тысячелетий... столь же почиталась, сколь она теперь презирается» <sup>11</sup>.

Заслуга восстановления исторической справедливости в отношении логики и даже в отношении наименования этой науки целиком принадлежит немецкой классической философии и связана с той [73] радикальной реформой в понимании самого ее существа, которая возвратила логике и достоинство и уважение.

Начало этой реформы было положено, как известно, И. Кантом. Кант впервые выделил проблему предмета и содержания логики и пытался решить ее путем критического анализа исторических судеб этой науки. Прежде всего он задался целью выявить в ее теоретическом багаже те бесспорные завоевания, которые ни у кого не вызывали сомнений, хотя ими и пренебрегали за их «самоочевидность».

Кант решил, иными словами, систематизировать тот теоретический багаж логики, который оставался незатронутым во всех спорах, составлявших историю борьбы направлений в философии XVI XVIII веков, а потому может считаться независимым от

различия позиций в понимании природы мышления, его происхождения и т.д. Выделив в истории логики этот «остаток», Кант убедился, что сохраняется не так-то уж много – ряд совершенно общих требований, сформулированных уже Аристотелем и его комментаторами. Отсюда его вывод о том, что логика со времен Аристотеля «не принуждена была сделать ни одного шага назад, если не принимать в расчет исключение некоторых ненужных тонкостей и более ясное изложение, так как эти улучшения ведут скорее к изяществу, чем к упрочению научности. Замечательно, что логика до сих пор не могла также сделать ни одного шага вперед и, по-видимому, имеет совершенно замкнутый, законченный характер»<sup>12</sup>.

С той точки зрения, с которой Кант рассматривал историю логики, этот вывод был абсолютно правилен. Если искать в логике лишь то, в чем одинаково согласны все – от Спинозы до Беркли, от Гольбаха до авторов Пор-Рояля, – лишь те истины, которые одинаково приемлемы и для материалиста-естествоиспытателя и для теологизирующего попа, а все разногласия выносить за скобки, то внутри этих скобок ничего большего остаться и не может. В этой точке зрения отчетливо отразилось характерное стремление Канта стать выше материализма и идеализма в понимании природы мышления. Но Кант непосредственно отсюда делает теоретический вывод: «Границы логики совершенно точно определяются тем, что она есть наука, обстоятельно излагающая и строго доказывающая исключительно лишь формальные правила всякого мышления»<sup>13</sup>. «Формальные» означает здесь независимые «от того, имеет ли оно (то есть мышление. – Э.И.) априорный или эмпирический характер, от его происхождения или объекта, а также от того, встречает ли оно случайные или естественные препятствия в нашем духе»<sup>14</sup>.

Разумеется, никакого доказательства, тем более строгого, Кант этим правилам не представил. В теоретически-аподиктической манере здесь высказано чистейшее эмпирическое суждение о том, что ряд правил мышления казался самоочевидным для философов всех направлений в XVI–XVIII столетиях и оставался на протяжении всего этого периода общим для всех достоянием. Так и откристаллизовалась общая логика.

Очертив так границы общей логики. Кант тщательно исследует ее принципиальные возможности. Компетенция ее оказывается весьма узкой. В силу указанной формальности, то есть абсолютного безразличия к знаниям по содержанию, она по необходимости оставляет в стороне различия сталкивающихся представлений и остается нейтральной не только, скажем, в споре Спинозы и Беркли, но даже и в споре любого из этих мыслителей с любым дураком, вбившим себе в голову самую смешную нелепость. Она обязана и этой нелепости вынести логическую санкцию, если та согласна с самой собою, не противоречит себе. «Общая логика не содержит и не может содержать в себе никаких предписаний для способности суждения» как «способности *подводить* под правила, т.е. различать, подходит ли нечто под данное правило... [74] или нет». Поэтому самое твердое знание правил еще не спасает от ошибок в их применении и «недостаток способности суждения есть собственно то, что называют глупостью; против этого недостатка нет лекарства»<sup>15</sup>. Во всяком случае, в аптеке общей логики.

Но именно поэтому она и не может быть не только «органом», то есть орудием, инструментом, но даже и достаточным каноном, то есть формальным критерием проверки теоретических суждений, актов научного познания.

Для чего же тогда вообще годится общая логика? Только для проверки на правильность так называемых аналитических суждений, то есть суждений, лишь разъясняющих уже

готовое, уже имеющееся в голове представление, каким бы нелепым и глупым оно само по себе ни было, констатирует Кант в полном согласии с Бэконом, Декартом и Лейбницем.

Очертив так границы правомочий общей логики, Кант уже тем самым поставил вопрос о разработке такого раздела логики, который специально имел бы в виду лишь теоретическое применение интеллекта и излагал бы те правила, соблюдение которых является необходимым условием для научно-теоретического применения правил общей логики. Но такой раздел логики становится возможным лишь в том случае, если во внимание будет принято различие знаний (представлений) по их содержанию, а стало быть, и по их происхождению, от которого принципиально отвлекается общая логика.

Научно-теоретические обобщения и суждения, во всяком случае, претендуют на всеобщность и необходимость, на то, что они могут быть подтверждены опытом всех людей, находящихся в здравом уме. Иначе вся человеческая наука имела бы не больше цены, чем восклицания дурака из сказки, который не вовремя и некстати произносит сентенции, уместные лишь в сугубо оговоренных обстоятельствах («таскать вам не перетаскать»), то есть бездумно выдает суждение, относящееся только к данному случаю, за безусловно всеобщее, применимое к любому другому случаю.

Научно-теоретическое обобщение должно четко оговаривать те условия, в которых обеспечивается его всеобщность и необходимость, то есть строго указывать тот «объект», к которому оно относится, чтобы не пытались это обобщение сопоставлять с теми фактами опыта, к которым оно не имеет ровно никакого отношения. Но объектами теоретических обобщений оказываются вовсе не случайно-единичные вещи (явления), данные в любом опыте, а лишь те вещи (явления), которые подводятся под определения понятий, то есть явления строго оговоренного класса, вида или рода.

Суждение чисто эмпирического характера, где «субъектом» является чувственно-созерцаемый предмет, например, суждение типа «все лебеди – белы», верно и правильно лишь с оговоркой: «белы все лебеди, *до сих пор попадавшие в поле нашего зрения*». Тогда такое суждение бесспорно, ибо оно и не претендует на отношение к тем «лебедям», которых мы еще не видели, и потому дальнейший опыт вполне правомочен корректировать наше представление о лебедях. Научно-теоретическое же суждение претендует на большее; оно должно быть справедливо и без указанной оговорки, должно относиться не только к уже протекшему опыту, но и к будущему опыту относительно того же самого объекта. Иными словами, субъект такого суждения определяется в нем через такой предикат (или признак), который выражает неотъемлемое от него свойство, при отсутствии какового единичное явление вообще не может быть включено в границы данного вида или рода, в опыт относительно данного субъекта.

Так, если бы нам удалось строго сформулировать понятие вида [75] «лебедь», указать тот признак, наличие которого только и позволяет зачислить встретившийся нам экземпляр птицы в разряд «лебедей», то мы были бы полностью гарантированы от угрозы опровержения нашего суждения будущим опытом, как бы долго он ни длился, по той простой причине, что любой, который может нам встретиться экземпляр, не обладающий указанным признаком, попросту будет рассматриваться нами как относящийся к какому-то другому виду и не имеющий никакого отношения к «лебедям», а стало быть, и не правомочный опровергать указанное определение вида.

Пока же суждение остается эмпирическим, оно не может быть выведено из-под контроля дальнейшего опыта. Иными словами, мы всегда должны оставлять возможность его

опровержения опытом, то есть допускать, что вдруг появится экземпляр, который мы обязаны будем включить в опыт относительно данного вида, несмотря на то, что он не обладает тем признаком, который мы до сих пор считали неотъемлемым признаком этого вида. По отношению к эмпирическим суждениям мы, стало быть, обязаны допускать такую ситуацию, когда под понятие *A* подводится явление, в котором признак *A* отсутствует, – явление с определением *не-A*...

Это значит, что в случае появления «логического противоречия» между эмпирическим знанием (понятием) и эмпирическим фактом это противоречие должно разрешаться не путем игнорирования факта, а путем исправления понятия, путем расширения или сужения его границ, путем замены предиката, определяющего субъект суждения. Иное дело – теоретические определения. В них выражен признак, при отсутствии которого вообще не может идти речь о данном понятии. Эмпирический объект, этого признака не имеющий, предмет *не-A*, опровергать понятие с определением *A* просто неправомошен. Поэтому логическое противоречие между понятием *A* и эмпирическим объектом с определением *не-A* решается путем простого игнорирования данного объекта. В этом смысле теоретические определения априорны. Выражаемая ими связь представлений претендует на всеобщее и необходимое значение и предполагает, что эти представления будут всегда связываться точно таким же образом и в опыте всех других людей, как бы долго он ни длился и как бы широко он ни распространялся, что указанный предмет будет обязательно выглядеть точно так же во всяком возможном опыте, в сознании вообще.

«...Если мы имеем причины считать известное суждение за необходимо всеобщее... то мы должны признавать его и объективным, т.е. выражающим не простое отношение восприятия к субъекту, а свойство предмета», – пишет Кант в «Пролегоменах»<sup>16</sup>. Мы, правда, ничего еще не знаем о том, каков этот предмет сам по себе («в себе»), но объективное суждение должно выражать то, что в опыте всех будущих людей он будет выглядеть точно так же. Иначе наука не имела бы никакой цены. Она стоила бы ровно столько же, сколько и суждение «все лебеди – белы».

Отсюда Кант и делает вывод, что должна существовать логика, специально трактующая о принципах и правилах теоретического (по его терминологии, априорного) применения мышления или об условиях применения правил общей логики специально к решению теоретических задач, к производству объективных суждений. Эта логика (или, точнее, этот раздел логики) уже может и должна послужить достаточным каноном, если не «органом», для мышления, претендующего на всеобщность и необходимость своих выводов, обобщений и положений. Кант присваивает ей название «трансцендентальной логики», или «логики истины».

В центр внимания этого раздела естественно попадала проблема так называемых синтетических действий интеллекта, посредством [76] которых достигается новое знание, а не просто разъясняется, словесно разворачивается уже готовое, имеющееся в голове знание. Понимая под синтезом вообще «акт присоединения различных представлений друг к другу и понимания их многообразия в едином знании»<sup>17</sup>, Кант отводил синтезу роль фундаментальной операции мышления, по существу и по времени предшествующей всякому анализу. «В самом деле, – говорит он, – где рассудок ничего раньше не соединил, там ему нечего также и разлагать»<sup>18</sup>, а потому «раньше всякого анализа представления должны быть уже даны, и ни одно понятие по *содержанию* не может возникнуть аналитически»<sup>19</sup>.

Ввиду этого первоначальными логическими формами и оказываются не принципы аналитических суждений (закон тождества и запрет противоречия в определениях), а всеобщие схемы соединения, единства различных представлений в составе знания, в сознании. «Первоначально это знание может быть еще грубым и спутанным и потому нуждается в анализе, но тем не менее именно синтез есть то, что собственно собирает элементы в форму знания и объединяет их в известном содержании»<sup>20</sup>. Кант считал, что «логические моменты всех суждений суть различные возможные способы соединять представления в сознании. Если же они служат как понятия, то это понятия *необходимого* соединения представлений в сознании, или принципы суждений с объективным значением»<sup>21</sup>.

Коренной недостаток традиционной логики Кант усматривал в том, что она вообще не пыталась даже проанализировать эти первоначальные логические схемы и принципы деятельности мышления: «Я никогда не удовлетворялся объяснением суждения вообще, даваемым теми учеными, которые говорят, что суждение есть представление отношения между двумя понятиями, – пишет Кант. – Не вступая здесь в споры по поводу недостатка этого объяснения (хотя из него вытекают многие тяжелые последствия для логики)... я замечу только, что в этом определении не указано, в чем состоит это *отношение*»<sup>22</sup>.

Если же не отмахиваться от этого вопроса, то оказывается, что принципами связывания представлений в объективных суждениях, в отличие от суждений восприятия, всегда выступают *категории*. «Словечко *есть* в суждении, выражающее отношение, имеет целью именно отличить объективное единство данных представлений от субъективного... Согласно законам ассоциации я мог бы только сказать: если я несу тело, я чувствую давление тяжести, но не мог бы сказать: оно, тело, *есть* нечто тяжелое, следовательно, утверждать, что эти два представления связаны в объекте, т.е. без различия состояний субъекта, а не сосуществуют только (как бы часто это ни повторялось) в восприятии»<sup>23</sup>.

Категории как раз и выражают те коренные, первоначальные формы работы мышления, благодаря которым вообще становится возможным связный опыт. «...Так как опыт есть познание посредством связанных между собою восприятий, – продолжает Кант, – то категории суть условия возможности опыта, и потому они имеют значение также для всех предметов опыта»<sup>24</sup>. Поэтому любое суждение, претендующее на объективное (теоретическое) значение, всегда предполагает и заключает в себе – в явном или неявном виде – *кате́горию*, и «мы не можем *мыслить* ни одного предмета иначе, как с помощью категорий»<sup>25</sup>.

Категории и являются фундаментальными первоначальными формами той самой способности, которая называется мышлением, и потому логика, если она хочет быть наукой о мышлении, должна развиваться именно как учение о категориях, как связная система таких категорий. [77]

Основоположником такого понимания логики Кант не без оснований считал Аристотеля, упрекая его лишь в том, что тот не дал никакой дедукции (то есть строгого доказательства и классификации) своей таблицы категорий, а просто перечислил те категории, которые нашел в наличном сознании своей эпохи, и к тому же принял эти категории не только за всеобщие формы мышления, но и за понятия, выражающие якобы всеобщие формы бытия, то есть гипостазировал чистейшие логические формы в виде метафизики. Но тем самым основное содержание аристотелевской логики Кант усмотрел именно в составе «Метафизики», а вовсе не только и даже не столько в «Органоне», обрубив тем самым раз и навсегда стоически-схоластическую традицию в толковании этой логики.

В «Критике чистого разума» Кант не дает своей системы категориальных определений объективного мышления, заботясь здесь «не о полноте системы, а только о полноте принципов для системы»<sup>26</sup>, то есть очерчивает лишь самые общие контуры нового понимания логики и самые общие ее категории («количество», «качество», «отношение» и «модальность», каждая из коих конкретизируется далее в трех производных). Он считает, что дальнейшая разработка подробностей уже не составляет труда, так как «полный словарь этих понятий со всеми необходимыми пояснениями не только возможен, но и легко осуществим». Кант считает, что эту задачу можно удовлетворительно выполнить, «если взять какой-либо учебник онтологии и присоединить, например, к категории причинности предикабилии силы, действия, страдания, к категории общения предикабилии присутствия и противодействия, к категориям модальности предикабилии возникновения, исчезновения, изменения и т.п.»<sup>27</sup> Наиболее полным и тщательно разработанным компендиумом категорий Кант считал «онтологию» вольфианца Баумгартена.

Таким образом, задача создания новой логики сводилась Кантом к чисто формальному преобразованию (переосмыслению) прежней метафизики, к выяснению чисто логического значения тех категорий, которые ранее, с легкой руки стоиков и схоластов, были вынесены в сферу метафизики и потому в качестве логических вообще не рассматривались.

Согласно Канту, категории – это чисто логические формы, то есть понятия, специфически характеризующие исключительно чистое мышление и ни в коем случае не предметный мир вне сознания людей, вещи «за пределами опыта». Они всеобщим образом характеризуют только «мыслимый предмет», то есть мир, *как и каким мы его сознаём*. Они характеризуют предмет лишь как «*предмет опыта*», или вещь, какой она выглядит в результате ее осознания, ее преломления через призму человеческой чувственности (созерцания) и рассудка.

Категории, таким образом, выступают как всеобщие и необходимые схемы работы сознания, объединяющего разрозненные восприятия в лоне общего представления, претендующего на объективное значение, то есть как *формы производства понятий*, как условия превращения не связанных чувственных впечатлений в форму понятия. Таким образом, понимание категорий как специфически-логических форм работы человеческого сознания и их включение в границы предмета логики принадлежат вовсе не Гегелю, как это иногда утверждают. Гегелю принадлежат совсем иные заслуги, о которых мы будем говорить ниже.

Однако за пределами компетенции как общей логики, так и трансцендентальной логики истины оставалась еще одна проблема, перед которой постоянно оказывается мыслящее познание. Это проблема полного теоретического синтеза отдельных теоретических обобщений и суждений в составе единой теории, развитой из единого принципа. На [78] этот счет «трансцендентальная аналитика» – «логика истины» – не дает и не может давать никаких указаний, никаких предписаний или критериев, ибо здесь речь идет уже не о единстве чувственных данных в составе понятия, не о формах единства (объединения) чувственно созерцаемых явлений в рассудке, а о единстве самого рассудка и продуктов его деятельности. В силу этого в логике Канта возникает еще один этаж, своего рода «металогика истины», ставящая под критический контроль не отдельные акты рассудочной деятельности, а весь рассудок в целом, так сказать, мышление с большой буквы, а не отдельные частные функции этого мышления.

Это стремление мышления к созданию единой, целостной теории относительно любого предмета естественно и неискоренимо. Мышление не может удовлетвориться простым

агрегатом частных обобщений и всегда старается свести их воедино, увязать в составе единой теории, развитой из одного всеобщего принципа.

Но тут-то и оказывается, что мышление, в точности соблюдающее все без исключения нормы и правила логики, ни в одном пункте этих норм и правил не преступая, все же с необходимостью приходит к роковому противоречию с самим собой, как только оно берется за решение указанной задачи.

Самое главное в анализе этой ситуации заключается в том, что к противоречию, к состоянию антиномии, мышление приходит вовсе не в силу неряшливости или недобросовестности тех лиц, которые его осуществляют, а именно потому, что оно неукоснительно соблюдает все заповеди логики там, где они бессильны.

Прежняя метафизика именно потому и билась целых две тысячи лет в безвыходных противоречиях, что старалась решить свою задачу с недостаточными, явно негодными средствами. И этими негодными средствами оказываются как раз те самые принципы и правила, совокупность которых составляет общую и трансцендентальную логику. Правила, уместные и законные при решении определенных задач, оказываются беспомощными, как только на основе их – и только их – пытаются решить задачу полного синтеза всех частных теоретических обобщений, как только их начинают применять за границами их применимости, строго оговоренными в общей и трансцендентальной логике.

Способность (на деле оказывающуюся у Канта неспособностью) мышления организовать воедино, в составе целостной теории, все частные обобщения и суждения опыта, которая так же органически свойственна мышлению, как и все другие его способности, Кант называет разумом. Разум как высшая синтетическая функция интеллекта необходимо «стремится довести синтетическое единство, мыслимое в категориях, вплоть до абсолютно безусловного»<sup>28</sup>. В этой своей функции мышление стремится к полному выяснению тех условий, при которых каждое частное обобщение рассудка может считаться справедливым безоговорочно и, таким образом, оказывается полностью гарантированным от угрозы опровержения новым опытом, новыми столь же правильными обобщениями.

Претензия на абсолютно полный, безусловно полный синтез (перечень, ряд) определений понятия и тем самым условий, при которых оно может считаться уже безоговорочно справедливым, равносильна претензии на познание «вещи-в-себе», а не только всех ее возможных явлений в нашем сознании, в нашем опыте. Это одно и то же, «так как абсолютная целостность условий есть понятие, неприменимое в опыте, потому что никакой опыт не бывает безусловным»<sup>29</sup>.

В самом деле, если я рискую утверждать, что предмет *A* определяется предикатом *B* в абсолютно полном объеме, а не только в той части его, которая побывала или даже вообще может побывать в поле [79] нашего опыта, в сознании вообще, то я уже не оговариваю в этом суждении такого условия его справедливости, как данность в сознании (в чувственном созерцании и рассудке) вообще. Я тем самым снимаю с него это ограничение рамками «всякого возможного опыта», не обуславливаю его справедливость этими рамками. Я начинаю думать, что суждение, приписывающее предмету *A* предикат *B*, остается верным не только в рамках опыта, но и за его пределами, за его границами, что оно относится к самому предмету *A*, как он существует не только в сознании, но и вне сознания вообще.

Поэтому претензия на «абсолютный и безусловный синтез» всех частных обобщений в составе единой теории, развитой из единого принципа, равносильна агрессии в

недозволенную область, в область познания вещей вне сознания вообще. Кант и называет этот незаконный ход мышления «трансцендентным применением рассудка», то есть таким его применением, которое ему принципиально противопоказано. Наказанием за это преступление и оказывается *логическое противоречие* внутри самого рассудка, разрушающее этот рассудок, «форму мышления вообще». Одновременно появление логического противоречия становится индикатором, показывающим, что рассудок взялся за решение непосильной для него задачи, вздумал «объять необъятное»...

В состоянии логического противоречия (антиномии) рассудок, то есть мышление, неукоснительно соблюдающее все правила общей и трансцендентальной логики, впадает здесь вовсе не только потому, что опыт всегда незавершен, и не потому, что он на основе «части» опыта хочет сделать обобщение, касающееся всего бесконечного опыта в будущем и выдает часть за целое. Это еще полбеды. Беда же в том, что при попытке произвести полный синтез всех эмпирических актов рассудка (то есть всех теоретических обобщений, сделанных логически безупречно на базе протекшего опыта) сразу же обнаруживается, что уже и сам этот протекший опыт внутри себя был необходимо антиномичен, если только его брать в целом, а не произвольно ограниченную его часть. И антиномичен он потому, что включает и себе обобщения (синтетические суждения), произведенные с помощью не только разных, но и прямо противоположных категорий, не совместимых друг с другом без противоречия.

В арсенале «инструментария» рассудка имеется, например, не только категория «тождество», но также и полярная ей категория «различие». Рядом с понятием «необходимость» в нем имеется понятие «случайность» и т.д. Каждая из этих категорий столь же правомерна, как и противоположная ей, и сфера ее применимости в рамках опыта столь же широка, как и сам опыт. В итоге любое явление (и сколь угодно широкая совокупность таких явлений) может быть осмыслено как в той, так и в другой категории, а потому и дает в логическом выражении два противоположных, друг с другом не совместимых без противоречия «опытных суждения».

Поэтому относительно любого предмета всегда могут быть высказаны две взаимоисключающих точки зрения, а в пределе – две теории, каждая из которых создана в абсолютно строгом согласии как со всеми требованиями логики, так и со всей совокупностью эмпирических данных и которые тем не менее не совместимы друг с другом в составе одной непротиворечивой теории, одного полного синтеза.

Эту неизбежную антиномичность мышления можно было бы ликвидировать только одним путем, а именно: объявив одну из полярных категорий законной, а другую запретив как иллюзию. Тогда пришлось бы выкинуть из «инструментария» рассудка ровно половину всех его категорий, например, оставить «необходимость» и выбросить «случайность», оставить «делимость» и выбросить понятие «простого», «неделимого далее» и т.д. и т.п. Прежняя метафизика именно так и делала. Она, [80] например, объявляла «случайность» чисто субъективным понятием, характеризующим лишь то, причин чего мы до сих пор не смогли познать, и таким образом превращала «необходимость» в единственно объективную категорию. Точно так же она поступала и во всех других случаях, например, объявляла «качество» чистой иллюзией чувственности ради того, чтобы превратить «количественные» характеристики явлений в единственно научные, единственно объективные и т.д.

Поэтому-то Гегель позднее и назвал указанный метод мышления метафизическим. Это действительно характерный метод прежней, докантовской, метафизики, избавлявшей себя от противоречий за счет простого игнорирования половины законных категорий,

«принципов суждений с объективным значением». Прежняя метафизика упрямо старалась организовать сферу разума, то есть «безусловно полный синтез понятий», без нарушения высших законов мышления – закона тождества и закона запрета противоречия. Иными словами, она применяла эти законы к самим категориям, стараясь охватить все категории в единой непротиворечивой системе. А это принципиально невозможно. Это и значит, что рассудок не осознавал в ней границ своей законной применимости и залетал в такую область, где все его законы и предписания бессильны. За это он каждый раз и наказывался антиномичным саморазрушением, впадал в «диалектические иллюзии». Эту антиномичность мышления в ходе решения высших синтетических задач познания Кант и назвал «естественным состоянием» разума по аналогии с тезисом Гоббса о «войне всех против всех» как «естественном состоянии» человечества. В этом «естественном», то есть не просветленном критикой, состоянии мышление мнит, будто оно способно, опираясь на ограниченный условиями пространства и времени опыт, выработать понятия и теории, имеющие *безусловно всеобщий* характер и потому справедливые не только по отношению к предметам всякого возможного опыта, но и к предметам, существующим вне и независимо от сознания (от опыта). Вывод Канта таков: достаточно строгий анализ любой теории, заявляющей претензию на безусловную справедливость своих утверждений, на полный синтез логически безупречных обобщений, всегда обнаружит в ее составе более или менее ловко замаскированные антиномии.

Рассудок, просветленный критикой, то есть сознающий свои законные права и возможности и не пытающийся залететь в «трансцендентные» сферы, всегда будет стремиться к полному синтезу, но никогда не позволит себе утверждать, что он такого синтеза уже достиг. Поэтому теоретические противники, вместо того чтобы вести постоянную войну друг с другом и стремиться к полной победе над врагом, должны установить между собою что-то вроде мирного сосуществования, признавая равные права каждого на относительную истину. Они должны понять, что по отношению к предмету самому по себе они одинаково неправы, но в то же время одинаково правы в другом отношении – в том смысле, что рассудок «в целом» (то есть разум) внутри себя имеет противоположные интересы, одинаково законные и равноправные. Одну теорию, например, занимают тождественные черты двух рядов явлений, а другую – их различия (например, человека и животного, человека и машины и т.д. и т.п.). Каждая из этих теорий преследует вполне законный, но частный «интерес» разума, и ни одна поэтому не раскрывает объективной картины вещи, взятой вне сознания, независимо от каждого из этих «интересов».

«В естественном состоянии конец спору полагается *победой*, которой хвалятся обе партии и за которой следует большей частью лишь непрочный мир, устанавливаемый вмешавшимся в дело начальством; наоборот, в правовом состоянии дело кончается *сентенцией*, которая, проникая здесь в самый источник споров, должна обеспечить вечный [81] мир»<sup>30</sup>. Таким образом, критика разума, «заимствуя все решения из основных правил его собственного устава, авторитет которого не может быть подвергнут никакому сомнению, доставляет нам покой правового состояния, при котором мы можем вести наши споры не иначе, как в форме *процесса*»<sup>31</sup>.

Это «правовое состояние» только и обеспечивает «законодательство», выведенное из исследования сферы разума. Таким образом, разум с его неизбежной диалектикой превращается в самый важный раздел логики, формулирует предписания, которые только и могут избавить реальное мышление от косного догматизма, в который неизбежно впадает рассудок, предоставленный сам себе (то есть мышление, безупречное с точки зрения

формальной логики и логики истины), и от естественно дополняющего этот догматизм полного скепсиса.

Таким образом, структура логики как науки о мышлении была очерчена Кантом так:

1) Общая логика, компетенция которой ограничивается лишь аналитическими суждениями и потому крайне узка; по объему она совпадает с традиционной логикой.

2) Логика истины («трансцендентальная аналитика»), излагающая «принципы суждений с объективным значением», формы синтеза данных созерцания в рассудке, категории; она развивается как система (полный перечень, или «таблица») *категорий*.

3) «Трансцендентальная диалектика», осуществляющаяся как критика неправомерных претензий рассудка, то есть мышления, безупречного с точки зрения двух первых разделов логики, но старающегося превысить свои законные права, перейти за границы применимости своих правил и осуществить «полный синтез понятий», познать «вещь-в-себе»; это – учение о всеобщих принципах и условиях правильного употребления рассудка вообще.

После такого расширения предмета логики эта наука впервые обрела право называться *наукой о мышлении*, о всеобщих формах и закономерностях действительного мышления. Вместе с этим в состав логики была введена и диалектика, которая до этого казалась лишь «ошибкой», лишь «болезненным» состоянием интеллекта, либо результатом недобросовестности или неряшливости мышления отдельных лиц. Анализ Канта показал, что диалектика – это необходимая форма мышления, характеризующая «высшую ступень знания при реализации основных синтетических задач», как об этом хорошо сказано В.Ф. Асмусом в его книге «Диалектика Канта»<sup>32</sup>.

Поскольку же именно эти задачи выдвигались на первый план в науке данного периода, постольку проблема противоречия (диалектики) и оказалась центральной проблемой логики как науки. Но Кант посчитал диалектическую форму мышления за симптом тщетности стремлений ученых понять (выразить в научных понятиях) положение вещей вне их собственного «я». Остановиться на этом пессимистическом выводе не могла ни наука, ни логика. Диалектика категорий требовала дальнейшего критического анализа. Яснее всех эту выросшую перед логикой проблему осознал Гегель. С его именем поэтому и связан последующий прогресс логических исследований, развитие логики как науки о мышлении. [82]

<sup>1</sup> Бэкон Ф. Новый органон. Соцэкгиз, 1935, с. 110.

<sup>2</sup> Декарт Р. Рассуждение о методе /Избранные произведения. Госполитиздат, 1950, с. 271.

<sup>3</sup> Локк Дж. Опыт о человеческом разуме. Москва, 1898, с. 692.

<sup>4</sup> Гоббс Т. Левиафан. Соцэкгиз, 1936, с. 59.

<sup>5</sup> Опыт о человеческом разуме, с. 735-736.

<sup>6</sup> См.: там же.

<sup>7</sup> См.: письмо к Мерсенну от 20 ноября 1629 г.

<sup>8</sup> См.: Лейбниц Г.В. Идея книги, которая должна быть названа: Новые элементы всеобщей математики. См. *Fragmente zur Logik*. Berlin, 1960, S. 452.

<sup>9</sup> Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. Соцэкгиз, 1936, с. 462.

<sup>10</sup> См.: там же, с. 465.

<sup>11</sup> Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. X, с. 305.

- 12 Критика чистого разума. Петроград, 1915, с. 9.
- 13 Там же.
- 14 Там же. с. 9-10.
- 15 Критика чистого разума, с. 116-117.
- 16 Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться в качестве науки. Соцэкгиз, 1934, с. 172.
- 17 Критика чистого разума, с. 73.
- 18 Там же, с. 88.
- 19 Там же, с. 73.
- 20 Там же, с. 74.
- 21 Прологомены, с. 181.
- 22 Критика чистого разума, с. 102.
- 23 Там же, с. 103.
- 24 Там же, с. 112.
- 25 Там же, с. 114.
- 26 Там же, с. 76.
- 27 Там же.
- 28 Критика чистого разума, с. 215.
- 29 Там же.
- 30 Там же, с. 417.
- 31 Там же.
- 32 *Асмус В.Ф.* Диалектика Канта. Москва, 1930, с. 127.